

Сказки Гауфа. Рассказ об отрубленной руке



Родился я в Константинополе. Отец мой был драгоманом при Порте и попутно вел довольно прибыльную торговлю ароматическими маслами и шелками. Он дал мне хорошее воспитание, отчасти сам обучая меня, отчасти поручив мое образование одному из наших священнослужителей. Вначале он прочил меня в свои преемники по торговле, но когда я стал проявлять недюжинные способности, он, по совету друзей, решил сделать из меня врача, — ибо врач, когда он менее невежествен, чем обычные шарлатаны, легко преуспевает в Константинополе. У нас в доме бывало много франков, и один из них уговорил отца послать меня к нему на родину, в город Париж, где этому ремеслу обучают лучше всего и притом даром; сам он, возвращаясь домой, брался бесплатно отвезти меня туда. Мой отец, тоже путешествовавший в молодости, изъявил согласие, и франк сказал мне, чтобы я был готов в путь через три месяца. Я не помнил себя от радости, что увижу чужие края, и не мог дожидаться минуты, когда мы погрузимся на корабль. Наконец франк закончил свои дела и собрался в дорогу. Вечером, накануне отъезда, отец повел меня к себе в спальню; там я увидел прекрасную одежду и оружие, разложенные на столе. Но еще более привлекала мой взор большая куча червонцев, — я никогда до той поры не видал их в таком

множестве.

Отец обнял меня и сказал:

– Взгляни, сын мой, какую я приготовил тебе в дорогу одежду. И оружие тоже предназначается тебе. Это самое оружие твой дед надел на меня, когда я отправлялся на чужбину. Я знаю, ты умеешь владеть им; но никогда не пускай его в ход иначе как для защиты, – но тогда бей всю. Состояние мое невелико; взгляни – я поделил его на три части; одна принадлежит тебе, вторая пойдет мне на обеспечение в случае нужды, третья же будет для меня священна, – пусть она хранится про черный день тебе. – Так говорил мне старик отец, и слезы стояли у него в глазах – быть может, он предчувствовал, что мы не увидимся более.

Путешествие сошло благополучно; вскоре мы прибыли в страну франков, а через шесть дней пути очутились в большом городе Париже. Здесь мой франкский друг нанял мне комнату и посоветовал бережно расходовать мой капитал, составлявший в общем две тысячи талеров. Я прожил в том городе три года и учился всему, что надлежит знать искусному врачу, однако я бы солгал, сказав, что пребывание там было мне приятно, ибо тамошние нравы не пришлись мне по вкусу, а настоящих друзей я приобрел немного, но это были весьма достойные молодые люди.

Тоска по родине под конец совсем одолела меня, за все время я ничего не слышал о своем отце, и потому поспешил воспользоваться благоприятным случаем, чтобы возвратиться домой.

Дело в том, что из страны франков в Оттоманскую Порту отправлялось посольство. Я поступил в качестве хирурга в свиту посла и счастливо добрался до Стамбула. Но отеческий дом мой был заперт; соседи очень удивились, увидав меня, и сказали мне, что отец мой умер два месяца тому назад. Тот священник, что обучал меня в мои юные годы, принес мне ключ; одинокий и осиротелый, поселился я в пустынном доме. Все оказалось на тех же местах, как было при отце, – только денег, которые обещал оставить мне отец, я не нашел. Я спросил о них священника, и тот с поклоном ответил: «Отец ваш скончался святым человеком, завещав свое состояние церкви». Это было и осталось для меня

непостижимым, но что мог я поделать? Свидетелей против священника я выставить не мог, и мне приходилось только радоваться, что он не забрал заодно также и дом и товары моего отца. Это было первое несчастье, поразившее меня. Но вслед за тем посыпался удар за ударом. Как врач я не мог завоевать известность, потому что стыдился быть шарлатаном и не имел поддержки отца, который ввел бы меня в самые знатные и богатые дома, закрытые теперь для горемыки Цалевкоса. И товары отца тоже не находили сбыта, ибо покупатели рассеялись после его смерти, а новые скоро не приобретаются. Однажды я горько призадумался над своей участью, и тут мне пришло в голову, что в стране франков я нередко видел моих соотечественников, которые бродили из края в край, предлагая свои товары на городских базарах; я припомнил, что покупали у них как у иноземцев охотно и что при такой торговле нетрудно нажить огромные барыши. Мое решение было тотчас принято. Я продал отеческий дом, часть вырученных денег отдал на хранение надежному другу, а на остальные закупил редкостные в стране франков товары, как-то: шали, шелковые ткани, притирания и масла; приобрел себе место на корабле и пустился во второе плавание к стране франков. Едва дарданелльские укрепления остались позади, как счастье, по-видимому, вновь улыбнулось мне. Путь наш был краток и благополучен. Я пошел бродить по большим и малым городам франков и всюду находил покладистых покупателей. Друг мой все время слал мне из Стамбула новые товары, и я день ото дня становился богаче. Скопив наконец достаточно, чтобы отважиться на более крупное предприятие, я отправился со своими товарами в Италию. Тут я должен признаться, что добывал деньги еще другим путем, а именно своим врачебным искусством. Едва я приезжал в какой-нибудь город, как оповещал объявлениями, что прибыл греческий врач, исцеливший множество больных; и, надо сказать, мой бальзам и мои снадобья принесли мне немало цехинов. Так я в конце концов добрался до итальянского города Флоренции. Я решил подольше пожить в этом городе, отчасти потому, что он пришелся мне по вкусу, отчасти же потому, что мне хотелось отдохнуть от утомительных странствий.

Я нанял себе лавку в квартале Санта Кроче и в трактире, неподалеку оттуда, две хороших комнаты с балконом. Немедленно же я разослал людей с объявлениями, оповещающими обо мне как о купце и целителе. Не успел я открыть свою лавку, как покупатели хлынули толпой, и хоть цены у меня были довольно высокие, но торговал я лучше других, потому что держал себя обходительно и приветливо с покупателями. Так я счастливо прожил уже четыре дня во Флоренции, как однажды вечером, собираясь запирать лавку и, по своему обыкновению, проверяя запасы притираний в банках, я обнаружил в одной из них записку, которую сам я туда не клал. Я развернул записку и нашел там приглашение явиться в ту ночь ровно в двенадцать часов на мост, называемый Ponte Vecchio.[*] Я долго размышлял, кто бы это мог звать меня туда, но ведь я не знал ни души во Флоренции и потому подумал, что меня, наверное, хотят повести тайком к больному, как это уже бывало не раз. Итак, я решил отправиться туда, захватив из предосторожности саблю, которую некогда подарил мне отец.

Когда время приблизилось к полуночи, я собрался в путь и вскоре очутился на Ponte Vecchio. Мост был совсем пустынен, но я решил ждать того, кто меня звал.

Ночь стояла холодная, луна сияла ярко, и я глядел на воды Арно, уносящие вдаль отражение лунного света. На городских колокольнях пробило двенадцать; я оглянулся и увидел перед собой высокого человека, наглухо закутанного в красный плащ, краем которого он прикрывал себе лицо.

Сперва я очень испугался оттого, что он так внезапно очутился подле меня, но тотчас овладел собой и заговорил:

— Коли это вы позвали меня сюда, так скажите, что вам угодно?

Человек в красном повернулся и медленно произнес:

— Следуй за мной!

Тут уж мне показалось немного страшновато идти куда-то вдвоем с незнакомцем; я остановился и сказал:

— Подождите, сударь, извольте мне сперва сказать, куда надо идти; сообразуйте также открыть мне свое лицо, дабы я знал, что вы не замышляете против меня плохого.

Но красный человек не внял моим словам.

– Как тебе угодно, Цалевкос, не хочешь идти, оставайся! – ответил он и пошел дальше.

Тут я вспыхнул:

– Я не из тех, что позволяют любому дураку водить себя за нос; выходит, что я напрасно торчал здесь холодной ночью?

В три прыжка нагнал я его, схватил за плащ и, крича еще громче, взялся другой рукой за саблю; но плащ остался у меня в руке, а незнакомец исчез за ближайшим углом. Гнев мой мало-помалу остыл, – ведь плащ остался у меня, и с его помощью я, уж конечно, найду ключ к этой необычайной загадке. Я накинул плащ на себя и отправился домой. Едва я отошел шагов на сто, как кто-то проскользнул вплотную мимо меня и прошептал на франкском языке:

– Берегитесь, граф, нынче ночью ничего нельзя предпринять.

Но не успел я оглянуться, как неизвестный был уже далеко, и я увидел лишь тень, мелькавшую вдоль домов. Я сразу понял, что обращение относилось не ко мне, а к плащу, но разъяснить оно мне ничего не могло. На следующее утро я принялся размышлять, как быть. Сперва я собирался объявить о находке плаща, но тогда незнакомец мог бы прислать за ним третье лицо, и я не получил бы желаемой разгадки. Обдумывая дело, я внимательно разглядывал плащ.

Он был из тяжелого генуэзского бархата пурпурного цвета, оторочен каракулем и богато заткан золотом. Великолепие плаща навело меня на мысль, которую я решил тотчас же привести в исполнение. Я отнес его к себе в лавку и выставил на продажу, но назначил за него такую высокую цену, какую никто, я был уверен, не согласится дать. Моим намерением было внимательно приглядываться ко всякому, кто пожелает купить его, ибо фигуру незнакомца, хоть и мимолетно, но явственно представшую передо мной без плаща, я бы узнал из тысячи. Охотников приобрести плащ такой необычайной красоты нашлось немало, но никто и отдаленно не походил на незнакомца и никто не хотел платить за него огромную цену в двести цехинов. Удивило меня также, что все, кого я спрашивал, есть ли еще такой плащ во Флоренции, отвечали отрицательно и уверяли, будто никогда не видали столь искусной и изящной работы.

Начинало смеркаться, когда наконец в лавку вошел молодой человек, не раз бывавший у меня и уже предлагавший в тот день большую цену за плащ; он швырнул на стол кошелек с цехинами и вскричал:

— Клянусь богом! Цалевкос, я готов разориться, только бы купить у тебя плащ. — И тут же принялся отсчитывать монеты. Я был в сильном замешательстве; выставил плащ лишь для того, чтобы привлечь к нему взоры незнакомца, а тут вдруг явился молодой глупец, который согласен выложить за него назначенную мной несуразную цену. Что мне было делать? Я согласился, ибо, с другой стороны, меня радовала мысль получить столь блестящее возмещение за ночное беспокойство. Юноша накинул плащ и ушел; но с порога вернулся вновь и бросил мне бумажку, которая была приколота плащу, сказав:

— Смотри, Цалевкос, здесь прицеплено что-то, должно быть, не имеющее отношения к плащу.

Я равнодушно взял записку, но что я увидел! На ней стояло: «Нынче ночью в тот же самый час принеси плащ на Ponte Vecchio; четыреста цехинов ждут тебя». Я стоял как громом пораженный. Итак, я сам упустил свое счастье и совершенно не достиг своей цели; не долго думая, я сгреб те двести цехинов, догнал юношу, купившего плащ, и обратился к нему:

— Заберите свои цехины, дружище, а мне оставьте плащ, я никак не могу отдать его.

Тот сперва принял все за шутку, но, увидав, что я не шучу, рассердился, обозвал меня дураком, и дело в конце концов дошло до драки. Однако мне посчастливилось вырвать у него в потасовке плащ, и я собрался уже пуститься наутек, когда юноша принялся звать полицию и потащил меня в суд. Судья был очень удивлен такого рода жалобой и присудил плащ моему противнику. Тогда я стал предлагать юноше двадцать, пятьдесят, восемьдесят и, наконец, сто цехинов, сверх его двухсот, только бы он отдал мне плащ. Чего я не мог добиться просьбами, того достиг деньгами. Он забрал мои кровные цехины, я же торжествующе удалился с плащом, прослав сумасшедшим на всю Флоренцию. Но людская молва не трогала меня, ведь я-то лучше знал, что выгода на моей стороне.

Нетерпеливо ждал я ночи. В то же время, что и вчера, отправился я с плащом под мышкой на Ponte Vecchio. С последним ударом часов из мрака вынырнула фигура и направилась ко мне. То был бесспорно вчерашний незнакомец.

— Плащ при тебе? — спросил он меня.

— Да, сударь, — отвечал я, — но он обошелся мне в сто цехинов наличными.

— Знаю, — заметил тот. — Получай, тут четыреста.

Мы подошли вместе к широкому парапету моста, и он отсчитал мне монеты; их было четыреста; блеск их радовал мое сердце, — увы! — не подозревавшее, что то будет его последняя радость. Я спрятал деньги в карман и собрался внимательно разглядеть щедрого незнакомца, но он был в маске, из-за которой на меня грозно сверкали темные глаза.

— Благодарю вас за вашу доброту, сударь, — обратился я к нему, — что вам теперь угодно от меня? Однако скажу заранее: на дурное дело я не пойду.

— Напрасная тревога, — возразил он, накидывая себе на плечи плащ. — Мне нужна ваша помощь, как врача, но только не для живого, а для мертвеца.

— Как это возможно? — вскричал я в изумлении.

— Я прибыл с сестрой из дальних стран, — начал он, кивком приказав мне следовать за ним, — тут мы жили у одного из друзей нашей семьи. Моя сестра вчера скоростижно скончалась, и родные хотят завтра похоронить ее. Но, по нашему старому семейному обычаю, всем нам надлежит покоиться в фамильном склепе; многие, умершие в чужих краях, все же были на бальзамированы и перевезены туда. Родне я согласен оставить ее тело, но отцу я хочу привезти хоть голову его дочери, чтобы он в последний раз взглянул на нее.

Обычай отрезать головы близким родственникам, правда, покоробил меня, но я не осмелился возражать из страха обидеть незнакомца. Поэтому я сказал только, что хорошо умею бальзамировать мертвецов, и попросил его проводить меня к покойнице. Однако я не удержался от вопроса — почему все это происходит ночью и облечено такой тайной? Он отвечал мне, что родных его намерение приводит в ужас и днем они стали бы

препятствовать ему, но, когда голова уже будет отнята, им поневоле придется смириться; он бы мог прямо принести мне голову, но вполне понятное чувство не позволяет ему самому отрезать ее.

Тем временем мы подошли к большому великолепному дому. Спутник мой указал мне на него как на цель нашей ночной прогулки. Мы миновали главный портал дома, вошли в маленькую дверцу, которую незнакомец тщательно затворил за собой, и поднялись в темноте по узкой винтовой лестнице. Она вела в скудно освещенную галерею, через которую мы достигли комнаты, где горела одна лампа под потолком.

В этом покое стояла кровать, на которой лежал труп. Незнакомец отвернулся, видимо скрывая слезы. Он указал мне на кровать, велел быстро и хорошо исполнить порученное мне дело и вышел из комнаты.

Я достал свои инструменты, которые в качестве врача всегда имел при себе, и приблизился к кровати. Видно было только лицо трупа, но оно показалось мне таким прекрасным, что меня невольно охватила глубокая жалость. Волосы ниспадали длинными прядями, — щеки были бледны, глаза сомкнуты. Сперва я сделал надрез по коже, как принято у врачей при ампутации какого-нибудь члена; затем взял самый свой острый нож и одним взмахом перерезал горло. Но, о ужас! — покойница открыла глаза и вновь с глубоким вздохом сомкнула их, словно лишь сейчас испутив дух. И одновременно из раны на меня брызнула струя горячей крови. Мне стало ясно, что бедняжку умертвил я, ибо в том, что она мертва, сомневаться не приходилось: от такой раны спасения быть не может. Несколько минут простоял я неподвижно, трепеща от содеянного. Значит, красный человек обманул меня? Или же сестра была в летаргическом сне? Последнее показалось мне вероятнее. Но я не решился бы сказать брату, что менее глубокий разрез мог разбудить ее, не убив, и потому решил совсем отнять голову от туловища; но умирающая застонала еще раз, судорожно вытянулась и умерла; тут страх одолел меня, и я в смятении кинулся вон из комнаты. Снаружи в галерее было темно: лампа погасла, спутник мой исчез, и мне пришлось на ощупь продвигаться вдоль стены, чтобы добраться до винтовой

лестницы. В конце концов я набрел на нее и, скользя, спотыкаясь, спустился по ней. Внизу тоже не оказалось ни души. Дверца была лишь притворена, и я вздохнул с облегчением, очутившись на улице, ибо там, в доме, мне было совсем невмоготу. Подгоняемый страхом, бросился я к себе на квартиру и зарылся в постель, стремясь забыться после совершенного мной страшного дела. Но сон не приходил, и лишь утро принудило меня собраться с мыслями. Я предполагал, что человек, толкнувший меня на такое страшное злодеяние, меня не выдаст. Я решился не мешкая отправиться к себе в лавку и заняться своим делом, приняв по возможности беспечный вид. Но увы! – новое обстоятельство, которое я обнаружил лишь сейчас, усугубило мою тревогу. Я не находил ни своей шапки, ни пояса, ни ножей и не мог припомнить, оставил ли я их в комнате убитой или растерял во время бегства. К несчастью, первая догадка была более правдоподобна, и, значит, меня легко могли уличить в убийстве. В обычное время я открыл лавку. Сосед, как и каждое утро, не замедлил явиться ко мне, ибо он был человек общительный.

– Ну, что вы скажете, – начал он, – какое ужасное событие приключилось нынче ночью! – Я сделал вид, будто ничего не знаю. – Неужели вы не слышали того, о чем толкует весь город? Не слышали, что прекраснейший цветок Флоренции, Бианка, дочь губернатора, убита нынче ночью? Ах! Вчера еще я видел, как она, веселая, проезжала по улицам вместе с женихом, ведь на сегодня назначена их свадьба.

Каждое слово соседа, как острый нож, вонзалось мне в сердце, и пытка повторялась непрерывно, ибо каждый покупатель пересказывал мне эту историю, уснащая ее подробностями, которые были одна ужаснее другой; но до того ужаса, который видел я сам, никто додуматься не мог. Среди дня ко мне в лавку вошел судейский чиновник и попросил меня удалить покупателей.

– Синьор Цалевкос, – произнес он, доставая потерянные мною вещи, – эти вещи принадлежат вам?

Я собрался было отказаться от них, но, увидав в полуотворенную дверь своего хозяина и нескольких знакомых, которые могли бы свидетельствовать против меня, решил не отягощать своей вины еще и ложью и признал предъявленные мне вещи. Судейский

чиновник предложил мне следовать за ним и привел меня в большое здание, оказавшееся тюрьмой. Там он до поры до времени оставил меня в отдельном помещении.

Поразмыслив в одиночестве, я понял весь ужас своего положения. Мысль, что я убийца, — хоть и против воли, — не давала мне покоя; не мог я также утаить от себя, что блеск золота оуманил мне разум, иначе я так слепо не поддался бы обману.

Через два часа после ареста за мной пришли. Меня повели куда-то вниз по бесконечным лестницам, пока мы не очутились в большой зале. Там, вокруг длинного, покрытого черным столом, сидело двенадцать человек, преимущественно стариков. Вдоль стен залы шли скамьи, сплошь занятые именитыми флорентийцами; вверху, на галереях теснились обыватели. Когда я подошел к черному столу, из-за него поднялся человек с мрачным и скорбным лицом — то был губернатор. Он обратился к собранию со словами, что ему как отцу нельзя быть судьей в этом деле и потому он на сей раз уступает свое место старейшему из сенаторов. Старейший из сенаторов был старец, по меньшей мере девяностолетнего возраста; он стоял совсем согбенный, остатки седых волос ниспадали ему на виски, но глаза еще пылали огнем и голос был тверд и уверен. Он начал с вопроса, признаюсь ли я в убийстве. Я попросил его выслушать меня; откровенно и внятно изложил я все, что сделал, и все, что знал. Я заметил, что во время моего рассказа губернатор то бледнел, то краснел; а когда я кончил, он вскочил в бешенстве.

— Как, негодяй! — крикнул он мне. — Ты еще хочешь свалить на другого злодеяние, совершенное тобою из корысти?

Сенатор поставил ему на вид его вмешательство, ибо он добровольно отказался от своих прав, да, кроме того, ничем пока не доказано, что злодейство совершено мной из корысти, ведь, по его собственному показанию, у покойницы ничего украдено не было. Мало того, он заявил губернатору, что ему следует дать отчет о прежней жизни своей дочери. Ибо лишь таким путем можно вывести заключение, говорю ли я правду или нет. Вслед за тем он прекратил на сегодня разбор дела, дабы, сказал он, поискать разгадки в бумагах покойной, которые вручит ему губернатор. Меня снова отвели в тюрьму, где я

провел печальный день, мечтая о том лишь, чтобы как-нибудь отыскались нити, связующие покойницу с человеком в красном плаще. Преисполненный надежд, переступил я на другой день порог залы суда. На столе лежало много писем; старик сенатор спросил меня, моя ли то рука. Я взглянул на них и узнал почерк тех двух записок, которые получил я. Я заявил об этом сенаторам, но слова мои не встретили доверия; мне возразили, что как та, так и другая бесспорно писаны мною, ибо подпись повсюду начинается с Ц, первой буквы моего имени. Письма же содержали угрозы и предостережения против брака, в который покойница намеревалась вступить. По-видимому, губернатор успел дать какие-то неблагоприятные сведения обо мне, ибо в этот день со мной обращались подозрительнее и строже. Дабы оправдаться, я сослался на бумаги, которые должны быть у меня в комнате. Мне ответили, что там уже искали, но ничего не нашли. Так, к концу этого судебного заседания всякая надежда покинула меня, и, когда на третий день я снова был приведен в залу, мне прочитали приговор, в котором меня, как уличенного в преднамеренном убийстве, приговаривали к смертной казни. Такова, значит, моя доля; вдали от родины, разлученный со всем, что мне дорого на земле, я осужден был безвинно, во цвете лет, кончить жизнь под топором!

Вечером этого ужасного дня, решившего мою участь, я сидел в своей одинокой темнице; надежды мои угасли, — все помыслы сосредоточились на смерти; как вдруг дверь моей тюрьмы растворилась и вошел какой-то человек. Долго и молча вглядывался он в меня.

— Вот как привелось мне увидеть тебя вновь, Цалевкос! — заговорил он наконец.

Я не узнал его в тусклом свете лампы, но, при звуке его голоса, воспоминания воскресли во мне; то был Валетти, один из немногих друзей, приобретенных мною во времена моего учения в городе Париже. Он сказал, что случайно приехал во Флоренцию, где проживает его отец, человек почтенный; услышав мою историю, он явился в последний раз повидаться со мной и от меня самого узнать, каким образом я дошел до столь тяжкого преступления. Я рассказал ему всю историю. Он был явно поражен

и заклинал открыть ему, моему единственному другу, все без утайки, – чтобы не уйти из этого мира с ложью на совести. Я поклялся ему всем святым, что говорю правду и что на мне лежит одна вина: ослепленный блеском золота, я не усмотрел неправдоподобности в рассказе незнакомца.

– Итак, ты прежде не знал Бианки? – спросил он меня.

Я заверил его, что ни разу в жизни не видал ее. Тогда Валетти рассказал мне, что тут кроется глубочайшая тайна и что губернатор очень торопился с моим осуждением; а по городу теперь ходит молва, будто я давно знал Бианку и убил ее из мести, потому что она выходит замуж за другого. Я заметил в ответ, что все это весьма подходит к человеку в красном, но я не в силах доказать его причастность к преступлению. Валетти в слезах обнял меня и пообещал сделать все, чтобы по крайней мере спасти мне жизнь. Я не слишком надеялся, однако знал, что Валетти человек разумный и сведущий в законах и что он все сделает для моего спасения. Два долгих дня прошло в неизвестности, наконец явился Валетти.

– Я приношу утешение, хотя и нерадостное. Тебе будет дарована жизнь и свобода, но ты лишишься одной руки.

Прочувствованно поблагодарил я друга за спасение жизни. Он сообщил, что губернатор никак не желал разрешить пересмотр дела, но под конец, боясь показаться несправедливым, пошел на уступку, согласившись, если в летописях Флоренции найдется подобный случай, наложить на меня такую же кару, какая была наложена тогда. Мой друг со своим отцом дни и ночи рылись в старых книгах и наконец нашли случай, совершенно сходный с моим. Приговор там гласил: надлежит у него отрубить левую руку, отобрать в казну имущество, его же самого подвергнуть вечному изгнанию. Такова теперь и моя кара, и мне нужно приготовиться к предстоящим тяжким минутам. Я не стану рисовать вам те тяжкие минуты, когда мне пришлось посреди площади положить руку на плаху и когда собственная кровь фонтаном обдала меня!

Валетти взял меня к себе, пока я не поправился, а затем щедро снабдил меня деньгами на дорогу, ибо все, что я скопил своими трудами, стало добычей суда. Я отправился из Флоренции в

Сицилию и оттуда, первым попавшимся кораблем, в Константинополь. Все надежды у меня были на тот капитал, что я оставил на хранение другу; кроме того, я просил его приютить меня; но как я изумился, когда друг спросил, отчего я не хочу поселиться в своем доме. Он рассказал мне, что какой-то неизвестный человек приобрел на мое имя дом в греческом квартале, а соседям объявил, что вскоре явлюсь я сам. Я тотчас отправился туда вместе с другом и был радостно встречен всеми знакомыми. Один пожилой купец вручил мне письмо, которое оставил человек, совершивший за меня покупку дома.

Я прочел: «Цалевкос! Две руки готовы трудиться без устали, дабы ты не ощущал потери одной. Дом, который ты видишь, и все его содержимое принадлежит тебе, а каждый год ты будешь получать столько, сколько нужно, чтобы считаться человеком богатым. Прости тому, кто несчастней тебя!» Я догадывался, кем оставлено это письмо, а купец на мой вопрос ответил, что человек тот показался ему чужеземцем и одет был в красный плащ. После этого рассказа я принужден был признать, что незнакомец мой не вполне лишен душевного благородства. Я оказался владельцем дома, устроенного наилучшим образом, а кроме того, еще и лавки с такими прекрасными товарами, каких у меня никогда не бывало. С тех пор протекло десять лет; больше по привычке, чем из нужды, разъезжаю я по торговым делам, но в той стране, где мне пришлось столько претерпеть, я больше не был ни разу. С тех пор я каждый год получал по тысяче золотых, но хоть меня и радует благородство того злополучного человека, однако ему не окупить скорбь моей души, где вечно жив душераздирающий образ убитой Бианки.

Цалевкос, греческий купец, окончил свой рассказ. С глубоким участием слушали его все остальные; особенно взволнован, казалось, был чужестранец: он неоднократно глубоко вздыхал, и Мулею раз даже почудилось, будто на глазах у него слезы. Долго толковали они об этой истории.

— Вы, надо думать, ненавидите незнакомца, что так подло лишил вас благороднейшей части тела и чуть было не лишил самой жизни? — спросил гость.

— Прежде, в самом деле, случались минуты, когда я в сердце

своим винил его перед господом за то, что он навлек на меня такое горе и напоил ядом мою жизнь, — отвечал грек, — но я нашел утешение в вере отцов, которая повелевает мне возлюбить врага; да и он, конечно, несчастнее меня.

— Вы благороднейший человек! — вскричал гость, с чувством пожимая руку Цалевкоса.

Но тут начальник стражи прервал их беседу. С озабоченным видом вошел он в шатер и доложил, что надо быть начеку, ибо в этих местах чаще всего совершаются нападения на караваны, а его стража как будто заметила вдали отряд всадников.

Купцов сильно встревожило это известие, но чужестранец Селим подивился их тревоге, заметив, что при такой охране нечего бояться кучки арабских разбойников.

— О да, господин мой! — отвечал ему начальник стражи. — Будь это простой сброд, можно бы без страха расположиться на покой, но с некоторых пор снова появился грозный Орбазан, а при нем надо держать ухо востро.

Гость спросил, кто такой Орбазан, и Ахмет, старший из купцов, ответил ему:

— В народе рассказывают много чудес об этом человеке. Одни полагают, что он одарен сверхъестественной силой, ибо нередко он один поражает сразу пять-шесть человек; другие считают его смельчаком-франком, которого несчастья занесли в здешние края, — кто бы, однако, он ни был, ясно одно — он нечестивец, злодей и разбойник.

— Этого вы не можете сказать, — возразил ему Леза, один из купцов. — Хотя он и разбойник, но тем не менее благородный человек, что испытал на себе мой брат и чему я мог бы привести вам доказательства. Все свое племя он держит в подчинении, и пока он кочует по пустыне, никакое другое племя не смеет показаться в этих местах. Да он и не грабит, как другие, а только взимает с караванов дань, и кто беспрекословно выплачивает ее, тот может без помехи совершать свой путь, ибо Орбазан — повелитель пустыни.

Так беседовали между собой путешественники, сидя в шатре; тем временем среди стражи, охранявшей место стоянки, поднялась сильная тревога. Порядочная кучка вооруженных всадников

показалась на получасовом расстоянии; они явно направлялись напрямик к стоянке. Один из стражников явился в шатер сообщить, что нападение готовится в самом деле. Купцы принялись совещаться, как быть – выступать ли навстречу или ждать нападения. Ахмет и двое других купцов постарше предпочитали второе, но пылкий Мулей, а также Цалевкос настаивали на первом и обратились к гостю с просьбой поддержать их. Но тот спокойно достал из-за пояса синий платочек с красными звездами, привязал его к копью и велел одному из рабов водрузить его над шатром; он ручается головой, сказал он, что всадники, увидав этот знак, спокойно проедут мимо. Мулей не верил в успех, но раб все же водрузил копье над шатром. Между тем все успели вооружиться и с волнением смотрели навстречу всадникам. Но те, по-видимому, заметив знак, круто изменили направление, обогнули место стоянки и поскакали в другую сторону.

Изумленные путешественники несколько минут молча переводили взгляд со всадников на своего гостя. Тот же, как ни в чем не бывало, стоял перед шатром и смотрел вдаль. Наконец Мулей прервал молчание.

– Кто же ты, могущественный незнакомец, чьему знаку покорны дикие кочевники пустыни? – вскричал он.

– Вы переоцениваете мое могущество, – возразил Селим Барух. – Я захватил этот знак, убегая из плена. Что он означает, я не знаю и сам; одно мне известно, что он служит могущественной защитой тому, кто путешествует с ним.

Купцы благодарили гостя, называя его своим спасителем. И в самом деле, число всадников было так велико, что караван вряд ли мог бы обороняться против них.

Успокоенные, отправились все на покой, когда же солнце начало склоняться, а вечерний ветерок подул над песчаной равниной, караван снялся и пустился в дальнейший путь.

На следующий день он расположился примерно лишь на расстоянии дня пути от конца пустыни. Когда путешественники вновь собрались в большом шатре, купец Леза повел такую речь:

– Я сказал вам вчера, что страшный Орбазан – благородный человек; позвольте мне нынче подтвердить вам это рассказом о

приключениях моего брата. Отец мой был кади в Акаре. Нас у него – трое детей. Я – старший, а брат и сестра много моложе меня. Когда мне минуло двадцать лет, один из братьев отца призвал меня к себе. Он назначил меня наследником своего имущества с тем, чтобы я находился при нем до его смерти. Однако он достиг преклонного возраста, так что я лишь два года тому назад возвратился на родину, ничего не зная о том, какая ужасная судьба постигла между тем моих близких и какой благодетельный оборот дал ей Аллах.

[*] – Старый мост (ит.).

[Спасение Фатьмы](#)



 Загрузка...